



В ГОСПИТАЛЕ

Был час утреннего обхода. Главный врач, сидящий мужчина лет пятидесяти пяти, в очках, направлялся в сопровождении медиков на второй этаж. На лестнице их догнала сестра.

— Товарищ Захаров,— обратилась она к молодому дежурному врачу,— опять пришла мать Саттарова. Очень просит.

— Хорошо,— кивнул Захаров и, продолжая подниматься, обратился к главному врачу:— Михаил Владимирович, мать Саттарова просит свидания. Приходила и вчера, но было очень поздно.

— Можно, можно,— бросил главный врач, не оборачиваясь.— Кстати, в какой он палате?

— В двенадцатой.

Сестра уточнила:

— Ампутация нижней конечности.

— Ах, это мать того самого юноши!— Главный врач остановился, снял очки и задумчиво протер их.— Как температура?

— Вечером была немного повышена, Михаил Владимирович.

Сестра скороговоркой вставила:

— Она из Казани приехала, а завтра уходит последний пароход.

Главный врач, все еще находясь во власти своих дум, проговорил:

— Да, температура должна быть повышенной. Юноше много пришлось перенести. Но какой терпеливый и волевой! Это вам не шуточное дело — ампутация ноги и ранение в голову! А тут еще этот проклятый грипп. В палатах холодно, топить нечем... Еще вот что, Василий Степанович, — он взял Захарова под руку, — я получил уже два письма о Саттарове. Комиссар полка очень просит, чтобы мы сообщили о его здоровье. Сегодня же надо ответить, Василий Степанович, сегодня же. А потом надо будет писать регулярно, — скажем, раз в десять дней. Не забудете, Василий Степанович? Это поручается вам.

Когда врачи двинулись дальше, сестра, торопливо шагая за ними, спросила:

— Михаил Владимирович, так пустить ее?

— Потом, милая, потом! Сначала проведем мы сами.

На втором этаже врачи свернули налево и зашагали по широкому полуосвещенному коридору, в самом конце которого находилась двенадцатая палата.

В коридоре былолюдно, стоял легкий, неясный шум. То и дело здесь встречались выздоравливающие красноармейцы в желтоватых халатах, больших шлепанцах, бледные, с забинтованными руками, ногами, на костылях. А из палаты в палату сновали работники госпиталя. Красноармейцы почтительно здоровались с врачами и продолжали негромко разговаривать. Только из палат, куда еще не доползла весть о начале обхода, доносились громкие возгласы, смех и даже где-то приглушенно тренькала мандолина. Туда устремились сестры, предупреждая: «Обход начался». И тотчас установилась тишина.

Главный врач, видимо, все еще думал о Саттарове. Он опять повернулся к Захарову:

— Знаете, этот юноша совершил необычайные подвиги.

— Да, о нем рассказывают чудеса, — подхватил дежурный врач. — Он батареей командовал.

— Такой молодой — и уже командир!

— Да, ему нет еще двадцати.

Михаил Владимирович не мог без волнения смотреть на этих простых рабочих парней, совершающих чудеса героизма. Частенько он засиживался в канцелярии, с любопытством просматривал личные дела раненых, а редкие часы досуга любил проводить в палатах, где слушал рассказы фронтовиков. День ото дня старик убеждался в том, что герои скромны, не любят говорить о себе. Он горячо восклицал, пожимая руку собеседника: «Друг мой, поверьте мне, вы совершили прекрасное и великое дело! Да, великое!» Но раненый лишь улыбнется и снисходительно взглянет на старика: «И чего тут восторгаться. Все так воюют. Так надо».

А как он провожал красноармейцев на фронт! Ласково похлопывая по спине, говорил самые теплые слова. Красноармейцы благодарили, обещая помнить его отеческие советы, и выходили из госпиталя легкой, бодрой поступью.

В последние годы в Михаиле Владимировиче пробудились незнакомые дотоле чувства. То ли революция вдруг омолодила его, то ли проснулась в нем сила, неведомая до сих пор, но он все чаще и чаще стал вспоминать свою молодость, которую уже не вернуть. И что удивительно — он испытывал сейчас буйное желание жить, работать. До революции он лет тридцать прослужил в лазаретах и госпиталях. Каждый раз, встречая новый год, Михаил Владимирович ощущал гнетущую пустоту оттого, что он еще на один шаг приблизился к развязке своей бессмысленной жизни. Революция перевернула его душу. На его глазах происходили невероятные вещи. Красноармейцы, подчас совсем еще желторотые юнцы, едва только встав с больничной койки, горячо стремились на фронт. И уходили на войну прямо из госпиталя. Он любовался ими, завидовал им и искренне сожалел о том, что не смог лучшую пору жизни, молодость, отдать так же, как они, великому делу, великой цели. «Какая силища! — думал он, гордясь ими. — Тридцать лет я врачевал, тридцать лет выслушивал биение человеческого сердца, солдатского сердца. Но не знал я, что есть такие сердца. Удивительно!»

Врачи проходили мимо палат, где лежали тяжело раненные. Здесь царила тишина.

Вот и двенадцатая, самая последняя палата.

Это была комната с тремя большими окнами, смотрящими в парк. Восемь коек. Укутанные серыми одеялами и желтоватыми халатами, лежат на них выздоравливающие. Возле каждого из них белая тумбочка. На ней пузырьки с лекарствами, кружки и, несмотря на конец октября, цветы — их неделю тому назад принесли работницы местной фабрики.

В палате холодно. По стеклам окон бегут струйки дождя, смывая прилипшие мокрые листья. Голые березки гнутся и качаются под порывами ветра, упрямо решив выстоять в борьбе с ним.

Врачи обступили койку у самой стены. Здесь лежал совсем еще юноша, набросивший, как и все, халат поверх одеяла. Голова забинтована, лицо бледное, чистое, безусое. Он поздоровался с подошедшими и слегка улыбнулся. Взяв листок температуры, висевший над изголовьем больного, главный врач сказал:

— Здравствуйте, друг мой! — Он всегда так обращался к тем, кто ему полюбился. — Как самочувствие?

— Вроде полегчало, — ответил юноша.

Главный врач изучил кривую температуры, придвинул табуретку и сел около койки.

— Отлично, отлично, мой друг! Температура у вас падает. Считайте, что проклятый грипп прошел. А как голова, болит? Полегчало, значит? Отлично. А нога?

— И нога теперь меньше ноет. Вот только по ночам зябко.

— Дров нет, друг мой, дров, — с горечью проговорил главный врач. — Обещают подбросить. Скоро топить начнем.

Он ежедневно обивал пороги командования воинских частей, начальника гарнизона, губздрава, губисполкома, но тщетно — топлива не было. Один только секретарь губкома обнадежил его, пообещав на этой неделе выделить для госпиталя немного дров.

Главный врач взял руку больного, сосчитал пульс. Затем достал из кармана стетоскоп и прослушал груд-

ную клетку раненого. После этого он опять сел, явно довольный осмотром.

— Друг мой,— ласково заговорил старик,— позвольте сообщить вам два радостных известия. Во-первых, скоро совсем поправитесь. Во-вторых, через несколько минут здесь будет ваша мама.

Юноша вдруг вспыхнул.

— Мама?.. Где? — Он порывисто схватил руку главного врача, впился в него глазами.

— Она внизу. Сейчас приведут.

Юноша обрадовался, как ребенок, сел на кровати и, улыбаясь всем лицом, тщательно укутал ноги одеялом. Сестра помогла ему надеть халат и поправила подушку.

Врачи осмотрели остальных больных и направились к выходу. Главный врач распахнул дверь, шагнул уже в коридор, но тут юноша умоляющим голосом позвал:

— Товарищ главный врач!

Михаил Владимирович обернулся. Юноша вдруг смутился и, волнуясь, продолжал:

— Товарищ главный врач, вы уж меня извините... Она знает, что у меня ногу отрезали?

Главный врач закрыл дверь, подошел к нему, не понимая смысла его вопроса. Дежурный врач с сестрой также остановились, удивленные.

— Вы говорили ей про это?

Главный врач вопросительно взглянул на сестру.

— Я ничего не говорила,— ответила та.— Разве только Василий Степанович...

Дежурный врач покачал головой.

Юноша немного успокоился.

— Тогда пусть она не знает,— попросил он.

Удивленный необычной просьбой, главный врач подошел к самой койке и снял очки.

— Почему, мой друг? Почему нельзя говорить?

Подошли и дежурный врач с сестрой. Остальные раненые тоже глядели теперь на Саттарова. А один из красноармейцев, уже почти здоровый, приковылял к нему на костылях и сел на свободный табурет.

— Почему, друг мой? — повторил главный врач.

Юноша ответил виноватым голосом, будто оправдываясь:

— Я не сообщал домой про ногу. Писал только про голову... Если можно, я хотел бы, чтобы мама про это не знала...

— Почему она не должна знать? — удивился главный врач.

— Трое нас было у матери, — сказал юноша, тяжело вздохнув, — два сына и дочь. Я самый младший. Брат был партийным работником. Когда Казань взяли белые, он ушел в подполье. А потом его арестовали и замучили в тюрьме. Сестра ушла на восточный фронт санитаркой. А я, сами видите, лежу тут.

Юноша смолк. Никто не нарушил тишину.

— Правда, она вынесет, когда узнает про ногу, — заговорил юноша, помолчав. — Она у меня крепкая старушка, зря не пустит слезу. Она все поймет. Да я сам не хочу, чтобы она горевала еще из-за меня. И так ей достается. А потом я еще не знаю, как там сестра... Что ни говори — фронт...

Протирая дрожащими руками глаза, главный врач спросил:

— Друг мой, после выздоровления вы поедете к матери — как же тогда?

— Это когда я вылечусь?.. Товарищ главный врач, гражданская война еще не кончилась, сколько еще земли в лапах врага! Может, и я пригожусь...

— Но чтобы служить в артиллерии...

— Нет, пулеметчиком...

Донельзя взволнованный, главный врач машинально сел на койку и, схватив бойца за руку, возразил:

— Друг мой, вы извините меня, но ведь и пулеметчику нужны обе ноги?

— В тачанке можно приспособиться и с одной, — решительно ответил юноша.

Главный врач ничего не сказал, торопливо нацепил очки, как бы боясь, что кто-нибудь заметит его увлажненные глаза, и, пожав руку юноше, быстрым шагом вышел из палаты.

— Какая прекрасная молодежь растет! Какая мо-